

СТЕРСКАЯ

«Критика — это когда слупые судят об умных».
(Н. Г. Охотне цитировалось Л. Толстым)

О ПЯТЬ парадоксов! Щеголяя с ярлыком «парадоксалиста», поневоле, знаете ли, вживаешься в образ. Впрочем, жанр законный. Есть за кого спрятаться. Хоть за Дидро. Всерьез же говоря, это ж действительно парадокс, это уже, так сказать, на грани недоразумения — изумительный интерес, которым окружена у нас сегодня критика. Я ведь не настолько наивен, чтобы думать, будто это мне персонально так повезло, что два блестящих литератора — Руслан Киреев и Дмитрий Урнов — занимаются моей особой, — нет, их задевает сам феномен критики. Говорят: оказаться бы тебе самому объектом собственной критики! Уже! Уже оказался! И не только я — весь «критический цех» наш, который изрядную долю рабочего времени занимается чем-то вроде самообслуживания, то есть в ответ на десятки анкет и сотни вопросов пишет этюды и трактаты на тему: что же такое критика?

В девятнадцатом веке по этому поводу, наверное, просто плечами бы пожали. Что такое был тогда критик? Человек,

Дальше. Что должно делать кино? Показывать и познавать объективную реальность. Так ли уж обязательно ему показывать и познавать самое себя? А ведь по-ветрие! Кино про кино! Обнажение приема! Кулисы с другой стороны! Зрелище, знающее, что оно зрелище. Спектакль, имитирующий репетицию спектакля. Гигантские организации радио и телевидения, похожие на державы, которые «сами себя воспроизводят». Инструмент для отражения разрастается в явление жизни. Он не «отражает» — он «существует».

Вы думаете, слово из-

живому режим. Отсюда и сервильная робость нашей критики (это в худшем случае), и человеческая жалость ее (это в лучшем). Жалко автор! Его текст — не «слова», которые он написал «лучше» или «хуже». Это — жизнь его, столь же реальная, как и эмпирическое его существование. Я не «текст» критикую — я с бытием сталкиваюсь.

Но если так, то, может быть, вовсе и не безумно то странное внимание к критике, которое ощущается теперь во всех концах культуры? Может, и в этом безумии есть своя система? Может, это — реакция на перемену, которая происходит сейчас в духовной структуре вообще?

не «описывает» реальность — оно о ней свидетельствует, и не столько текстом, сколько фактом появления такого, а не иного текста. Любая художественная «запись», состоящая из художника, включая и то, как он видит внешние вещи, есть закодированное духовное бытие. Вот я, критик, и должен его раскодировать.

Я не оцениваю качество «записи» — я истолковываю факт ее появления. Я не «разбираю» произведение — я его переживаю как духовную реальность. Я не сужу о тексте — я сужу о ситуации, которая его породила. Плохой роман так же много говорит о ситуации, как и хороший, — я не завишу от уровня писателя (хотя

ПАРАДОКС О КРИТИКЕ



Лев Аннинский * Портрет с автографом

«Я не «разбираю» произведение — я его переживаю как духовную реальность. Я не сужу о тексте — я сужу о ситуации, которая его породила».

судящий о чужом произведении. Писатель судит о реальности, а критик судит о том, как тот судит. Отражение отражения! «Внутрилитературный трибунал». Исправители погрешностей. Осведомители публики. Роскошь развитой словесности. Паразиты около чужого труда... Слепни на лошади, которая пашет. Сами пытались, да не успели — теперь злостуют от бессилия! Глупые об умных...

Широко известные сегодня, эти определения никогда, заметьте, не публиковались их авторами. Авторы были солидные: Тургенев, Лесков, Чехов, Толстой. Но составляли все это в записных книжках, в письмах, в устных разговорах. Печатно же критикам говорили другое: братцы, помилосердуйте! братцы, не так резко!

Насчет резкости — поговорим ниже. А пока примем во внимание, что все эти суждения (и справедливые, и несправедливые) исходят из одного старого убеждения, которое после Стендаля принято называть эффектом зеркала: писатель — зеркало жизни. А критик? Критик — зеркало писателя. Зеркало зеркала.

Так вот парадокс: почему это нас заботит зеркало второй степени, хотя и зеркало первой степени, строго говоря, не должно заботить само по себе. Отражение — да! Но толщина стекла, тип амальгамы — это ж такие «технологические тонкости»!

Надписи: «Добро пожаловать!» Что означает? Заходи! Но «какими буквами» это написано: черными или зелеными, прямыми или наклонными — десятый вопрос, не правда ли?

Десятый. В прошлом веке. Вдумайтесь в нынешний. Живописец Эрик Булатов пишет полотно, где именно буквы надписи «Добро пожаловать!» переживаются как чувственные феномены. И почти никому это уже не кажется абсурдом. Иерархия смысловых знаков давно ощущается как густейшая реальность. Она входит в эмпирию нашей жизни не просто как система отражений, а как система реалей. Есть целое живописное направление, осмысляющее этот жизненный слой, — «концептуализм».

бежало всеобщей участи! Слово — вроде бы знак эфемерный, дуновение эфира, условная на бумаге закорючка, «чтобы обозначить»?.. О нет, теперь оно само — реальность, и мощнейшая. Оно становится материальной силой. Вокруг него концентрируются миры. Не буду ссылаться на факты, которые могут показаться не лишними юмора: на дикое обилие «стихов» и на то, как охотно прозаики пишут книги про то, как они пишут книги. Но вот вам вопрос, поставленный критиком В. Кожинным: не находите ли вы, что в современном народном сознании «Война и мир» Толстого — фактор уже не менее реальный, чем память о войне 1812 года?

В XIX веке так не считали. И вопрос так не стоял. Роман «отражал» войну, критики «отражали» роман. Сегодня вопрос поставлен именно так: «отражение» стало новой реальностью.

Но если так, то... с чем взаимодействует сегодня критик? С «отражениями» и «рефлексиями»? Или с нового рода реальностью, вес которой ощущается, так сказать, на опыте? И что создает сам критик? «Суждение о суждении»? Или новую же реальность, которая начинает взаимодействовать с такими же реальностями в опоясавшей мир «идеосфере»?

Теперь об оценках.

Вот комплимент в мой адрес: умеет говорить писателям правду в глаза. О, Дмитрий Михайлович, чего же это сегодня стоит: правда в глаза. Какие вензеля придается ради нее выписывать, какого «ваньку» вальнуть. Как бы невзначай, как бы «не про это», как бы и впрямь — «глупый» об «умном» судит. Разве в XIX веке так было? Наоборот было! Резали правду, кто как хотел! Вот стон и стоял среди писателей по адресу критиков: полегче, полегче! Почему же теперь такая робость? А понятно. Если текст — всего лишь «отражение», всего лишь «суждение» о реальности, отчего ж и не атаковать его, не испытать на прочность: правда о тексте как бы и не кажется эмпирической жизнью автора — режь правду! Но если текст — «продолжение реальности», то тут уж мы по-

БЫЛА анкета среди критиков, лет пять назад, в «Литературном обозрении». Нескольким огрубляя, вот два вопроса, по которым предлагалось критикам сориентироваться. Первый: зависите ли от читателя (иными словами: служите ли своими статьями жизненным нуждам)? Второй: зависите ли от писателя (иными словами: служите ли нуждам литературы)?

Были ответы «на два плюса». То есть были критики, признавшие свою зависимость от того и от другого. Снимаю перед ними шляпу, однако скажу, что это уж слишком малодостижимый идеал — такой совершенный критик, который будет равно силён и в «содержательной актуальности», и в «чувстве формы» (мечта нашего «литхозяйства»). Реальнее для меня два других варианта ответов: «плюс — минус» и «минус — плюс». То есть в одном случае — всецелая зависимость от читателя и от жизненной актуальности текста, в другом — установка на автора, на «художественность» и на литературную ценность.

Первый вариант дает просветителя и публициста в лоне критики. Второй — дает критика эстетического, арбитра вкуса, историка словесности.

Однако нашлись критики, поставившие странное дело, «два минуса». То есть ни от кого не зависим: ни от читателя, ни от писателя! Ни от жизненной эмпирии, ни от словесной эстетики.

«Нарциссы!» — определил комментатор анкет Юрий Давыдов. Вторую сменитесь. Но поскольку на этой клумбе я произрос рядом с такими славными собратьями, как И. Золотуский, Ст. Рассадин, Вл. Гусев, В. Курбатов, то верю, что не случайно. И даже берусь оправдаться. Хотя бы за себя.

Впрочем, оправдываться нет нужды: Давыдов не изболтывает нашего брата-«нарциссита», он скорее объясняет сам феномен.

Он говорит приблизительно следующее:

— Вы меняли! Меняли слов, меняли идей. На базаре современной культуры вы — толмачи и перекупщики. Своего товара у вас нет, есть умение свести, связать, сконтачить. Перевести с языка на язык. Потому вы и не зависите от тех или иных реальностей, жизненных либо литературных, что реальностей для вас нет, а есть — «языки». «Язык» лирики, «язык» прозы, «язык» морали, «язык» фактов... Вы все сводите к «знакам», к их обороту. Потому вы и меняли.

Другой бы спорил... Да, меняли. Не вижу в этом странного: в наш век ни одна форма творчества не удерживается в рамках «натурального самообеспечения» — все сцеплено, закольцовано в обмен, все зафиксировано — идет гигантский круговорот ценностей, при котором понятие «своего товара» вполне относительно.

Да, толмачи идей. Потому что идеи стали облетать неслыханным самодействием: это не бесплотные отражения, это — мощные силы.

Да, сводим «языки». И мораль для нас — «язык», и философия — «язык», и эмпирические факты — «язык». Все, что мы видим, слышим, читаем, — все это мир феноменов, за которым кроется мир сущностей: неисчерпаемая тайна духовного бытия, лишь приоткрываемая фактами культуры. Стихотворение

хороший интереснее). Плохой читатель так же свят в своей жажде, как и хороший, — я не завишу от уровня читателя (хотя с хорошим легче). Я завишу только от того, чем все это порождено, — от духовной ситуации. Ибо она порождает и меня самого.

Я пишу о тексте писателя так же, как писатель пишет о вещах. Для писателя знак ситуации — «пепельница» (не о пепельнице же он, право, пишет, но — «через пепельницу»). Для меня знак ситуации — текст. В чем мой изначальный выигрыш? Я, критик, имею дело с объектами, в которых уже спрессован чужой духовный опыт. В остальном подход один. Это не значит, что я беру на вооружение приемы художественной прозы. Нет, Руслан Тимофеевич, комплимент не по адресу. Приемы — изначально общие, и вооружены в принципе мы все. Просто современность выявила это вооружение и у нашего брата.

Выявляла и раньше, хотя и в других формах. Когда в средние века художники спорили, как положить складки мафроя или асистку на лике святого, — они же не про то спорили, как им избразить объект, но люба складочка сознавалась как знак духовного опыта. Речь шла не об «отражении отражений», а о подключении к духовному полю. Знаю, аналогии опасны. Мы живем в другое время. Но гудящий фон идеологического напряжения в современном мире ни один «факт» не оставляет «голым»: любой факт сегодня — «документ», он подключается не к эмпирии и не к эстетике, а к духовной практике. Любой текст.

Зачем же я, критик, буду вязнуть в попутностях? Побочные задачи: просвещение читателя или вразумление автора попутно и решаются. Один шутник, перифразируя Леца, сказал: «Дети — побочный продукт любви». Свежая мысль! Не до прислушаться. Продукты — дело полезное. Но где же любовь критика?

«Проклятые вопросы»... Может критик на них ответить?

Не может.

И вдруг уходит от ответа...

Вопросы, между прочим, потому и «проклятые», что ответы на них невозможны. Ответишь — и как раз выйдет частность, плоскость, профанация.

Но когда требуют сегодня от критика ответов на эти вопросы, — так это счастье наше. Значит, нужны критики. И не для разрешения «злостнейших вопросов дня» или «нужд эстетики», а в другом помощи. Помочь понять, как Шукшин говорил, «что с нами происходит».

На имеют ответов «проклятые вопросы». Но вопросы повседневные, и литературные в том числе, решаются сносно лишь тогда, когда «проклятые вопросы» колом стоят в головах.

Включая и головы критиков.

Такой парадокс.